

УДК 82.091+821.133.1

**«ПЛЕНЕННЫЙ ТРУБАДУР» И КУРЛЯНДСКАЯ ЗНАТЬ В 1813 ГОДУ:
КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ НА ФОНЕ ВОЙНЫ¹**

канд. филол. наук, доц. Д.А. КОНДАКОВ
(Полоцкий государственный университет)
d.kandakou@psu.by

Проводится анализ рукописного поэтического сборника, созданного неизвестным французским офицером, находившимся в плену в Курляндской губернии после войны 1812 года. Стихотворения на различные случаи, торжественные и бытовые, выдержаны в стилистике «трубадур», характерной для французской лирики начала XIX века. Имена адресатов свидетельствуют о достаточно широком круге общения пленника и о его стремлении понять российскую действительность и установить контакт с местной элитой. Залогом взаимопонимания становятся интерес к французской литературе и следование нормам общественной жизни, выработанным во французской аристократической культуре и принятым в Российской империи рубежа XVIII–XIX веков. Отмечается, что в пределах поэтического сборника создается особая групповая идентичность. Опосредованная языком европейского межкультурного общения, она не противоречит патриотическим чувствам и не мешает раскрытию национальных культурных черт.

Ключевые слова: война 1812 года, стиль «трубадур», стихотворения на случай, национальные стереотипы, франкофония.

Введение. Рукописный стихотворный сборник «Поэтические опыты господина д'..., бывшего военного, во время плена в России после кампании 1812 года» (*Essais poétiques de Mr D'... ancien militaire, pendant sa captivité en Russie, après la Campagne de 1812*) [1], который хранится в составе коллекции Эмиля Бруве в фондах Национальной библиотеки Беларуси, отчасти знаком историкам и филологам благодаря работам А.Н. Стебурако [2–4]. Привлекая для анализа лишь те стихотворения, в которых запечатлелись переживания боевых событий, отечественный исследователь представляет «Поэтические опыты» как документальное свидетельство эпохи наполеоновских войн и пример «стихотворных мемуаров». Нисколько не умаляя достижений первооткрывателя, отметим два нюанса. Во-первых, тематика сборника далеко не ограничивается батальными сценами. Во-вторых, лирический характер сборника предопределяет субъективизм в оценках, мнениях и впечатлениях и делает в целом проблематичным использование упомянутых в нем фактов для восстановления достоверной исторической картины. Однако это вовсе не означает, что текст не может ничего сообщить о культуре общества, в среде которого он был создан, равно как и о самом его создателе.

Особую ценность этому сборнику придает тот факт, что входящие в него произведения создавались и распространялись вдали от столиц. Кто, как и для чего говорил, читал и писал на языке Расина в Санкт-Петербурге и Москве в XVIII–XIX веках историки знают достаточно хорошо. Обобщающая картина существования французского и русского языков в Российской империи представлена в недавно вышедшей двухтомной монографии интернационального коллектива авторов [5, 6]. Однако, как справедливо отмечают рецензенты, в этом труде анализируется лишь употребление французского языка российскими придворными и столичными элитами и практически ничего не говорится о его бытовании в среде провинциальной аристократии, духовенства, образованного мещанства [7]. «Поэтические опыты господина д'...», составленные в большинстве своем из стихотворений на случай и адресованные курляндским знатым семьям, дают возможность увидеть, каково было отношение к франкоязычной культуре в этом северо-западном регионе Российской империи, где многоязычие было естественным условием общественной жизни, в переломный для национального сознания двух стран момент – после войны 1812 года.

История создания сборника и его прагматика. «Поэтические опыты господина д'...» включают в себя 52 стихотворения, различных по своей жанровой природе и стилистике. Название сборника не вполне точно отражает его тематику. Одно стихотворение, как подсказывает заглавие, написано в испанском походе наполеоновских войск в 1809 году (*Couplets du troubadour fait à l'armée d'Espagne en 1809. A mes amis*). Еще 8, исходя из их тематики и содержания, можно датировать второй половиной

¹ Данное исследование проведено в рамках проекта № Г-15Ф-001 «Французские и франкоязычные рукописи в Беларуси (XVIII – начало XX вв.)», осуществленного при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.

1810-х гг. Но все же большая часть сочинений (43 стихотворения) относятся к интересующему нас периоду – весне-осени 1813 года, когда автор находился в плену в Курляндской губернии.

Произведения, написанные в разные годы в разных концах Европы, окончательно оформились в сборник между 1820 и 1828 гг. на юге Франции. Датировка и место создания (по всей вероятности родина автора) устанавливаются благодаря посвящению, которым открывается рукопись. Его адресат – граф Жозеф-Филипп-Шарль Дарос (Joseph-Philippe-Charles d'Arros), префект департамента Аверон в 1820–1828 гг. Обращаясь к этому «благородному чиновнику» (*noble magistrat*) и «справедливому ценителю произведений духа» (*juste appréciateur des œuvres du génie*) [1, f. 4v°], поэт не ищет покровительства и славы на литературном поприще. Дарос, соединяющий в себе качества государственного мужа и любителя поэзии, призван засвидетельствовать его патриотизм и искренность намерений.

Посвящение ретроспективно обзорекает творческий путь сочинителя и вводит две маски, которые будут чередоваться в произведениях 1813 года. Первая из них, которую он использует в стихотворениях, адресованных курляндской знати, – «пленный трубадур» (*troubadour prisonnier*). Этот образ не просто тождествен личностным характеристикам реального автора, поэта-воина, оказавшегося в неволе. Он также задает определенное звучание всему сборнику. Стиль «трубадур» как дань уважения и интереса к самобытной истории, почти утраченному провансальскому языку и древней культуре юга Франции возник на рубеже XVIII–XIX веков и достиг наивысшего расцвета в поэзии, живописи, архитектуре и декоративном искусстве в 1800–1810 годы [8, 9]. У этого художественного течения, как замечает французский искусствовед Э. Ко, была и политическая подоплека. Родившись в конце 1790-х гг. как легкая мода с контрреволюционным уклоном, стиль «трубадур» стал активно использоваться для пропаганды монархических идей накануне Реставрации [10]. Этот подтекст можно обнаружить и в отдельных строках анонимного поэта, явно недовольного Наполеоном и призывающего бывших соратников «умереть рядом с Людовиком / За честь и во отмщение» (*Allons mourir près de LOUIS / Pour l'honneur et pour la vengeance*) [1, f. 6v°]. Помимо сопутствующих политических высказываний, стихотворения сборника, особенно те 8, что были написаны поэтом после плена, на родине, содержат в себе основные темы и мотивы стиля «трубадур»: типичные пейзажные зарисовки с акцентом на живописные речные берега и возвышенности, галантные обращения поэта-воина к прекрасным дамам, жительницам сельской местности, сожаления о скоротечности времени.

Мода на французские романсы и песни, подражающие куртуазной средневековой поэзии с ее идиллическими пейзажами, воинственными и влюбленными трубадурами, прекрасными пастушками, была распространена также и в России начала XIX века. Ее проводниками были В.Л. Пушкин и В.В. Ханьков, чьи произведения распространялись не только в Москве и Санкт-Петербурге [11, с. 235–241, 354–355]. Зимой 1803 года В.Л. Пушкин читал свои произведения в парижском салоне Юлии (Варвары-Юлианы) Крюденер, урожденной фон Фитингоф [12, с. 261–262]. Весь разветвленный род Фитингофов, как и его знаменитая представительница, ставшая франкоязычной писательницей с европейским реноме, был хорошо знаком с французской культурой. По крайней мере, с конца 1760-х гг. отпрыски знаменитого курляндского семейства надолго задерживались в Париже и Лионе во время образовательных туров [13, f. 38r°-v°; 14, f. 87r°-v°]. Потому не удивительно, что «пленный трубадур» нашел общий язык с Фитингофами и посвятил свои стихотворения женам и дочерям этого семейства, о чем пойдет речь ниже.

Вторая маска – маска «пленника» (*prisonnier*). Более простая и в то же время официальная, она служит плененному поэту для обращения к неизвестным лицам либо важным персонам. Она же позволяет создать особое драматическое напряжение в послании к Даросу. В этом стихотворении поэт с сожалением замечает, что его стихи, написанные в плену для поддержания патриотического духа соратников, не вызвали никакого интереса в парижском обществе в 1814 году. Жители столицы охотнее привлекают победителей, нежели побежденных соотечественников:

Ô combien ma triste patrie
 Avait changé de mœurs en perdant ses lauriers!
 Sous le joug des vainqueurs toute entière asservie
 Elle n'écouait plus les chants de ses guerriers.
 On prodiguait l'encens au cosaque barbare
 A Blucher, à Sackenn, au Baschquir inhumain:
 Les dames célébraient la beauté du Tartare,
 Nous n'obtenions que leur dédain [1, f. 4r°].

О, моя грустная родина,
 Сколь твои нравы изменились, когда утратила ты лавры!
 Под гнетом победителей всецело пребывая,
 Не слушала ты больше песни своих воинов.
 Кадили фимиами жестокому казаку
 И Блюхеру, и Сакену, башкиру бесчеловечному,
 А дамы прославляли лишь красоту татар,
 Даря одним презреньем нас².

Разочарование «пленника», оказавшегося на родине непонятым и непринятым, тем сильнее, что в плену на чужбине он имел возможность вести диалог на родном языке.

² Здесь и далее перевод с французского наш – Д.К.

Гуманность против варварства, поэзия против вымысла. Круг лиц, к которым обращается анонимный поэт в 1813 году в Российской империи, весьма широк – от императора Александра I и его матери до товарищей по несчастью и юных дочерей местных дворян. Обращение к августейшей особе предполагает возвышенный стиль, который в стихотворениях французского офицера сочетается с личными интонациями и чувствительностью. Император для анонимного автора – не только наместник Бога на земле, повелевающий судьбами мира и отдельных людей. Александр I показан как отзывчивый человек, который сопереживает участи несчастных пленников и улучшает ее благодаря своим необыкновенным дарованиям. Под пером «пленника» традиционное для стихотворных [15] и мемуарных [16] текстов побежденных французов клише о великодушии и благородстве «великого Александра» представлено как непосредственный опыт. Французский офицер рассказывает о личном обращении к императору и его благодеяниях в «Оде о несчастьях военнопленного после кампании 1812 года в России» (*Ode sur les malheurs du prisonnier de guerre après la campagne de 1812 en Russie*):

...J'osai porter ma plainte aux pieds d'un Empereur,
Ennemi de Français, mais juste et magnanime,
Il sut des attentats réprimer la fureur,
Alexandre toujours fut ennemi du crime.

Je l'ai vu ce mortel auguste et bienfaisant
Dans ces vastes dépôts des misères humaines.
Regarder les malheurs d'un œil compatissant
Et caresser la mort de ses mains souveraines.
Je le dis aux Français: j'ai vu couler ses pleurs;
Le plus puissant des Rois possède une âme tendre,
Il paraissait un dieu commandant aux douleurs
Qui semblaient obéir à la voix d'Alexandre [1, f. 17r^o].

Я поднести посмел прошение свое к ногам Императора
Врага французов, но справедливого и великодушного,
Он смог унять преследований ярость,
Александр всегда врагом был преступлений.

Я видел смертного сего, великого в благодеяниях,
Среди обширных сих юдолей страданий человеческих,
Как он глядел сочувствующим взором на несчастья
И ласкал усопших своими державными руками.
Я говорю французам: я видел, как текли у него слезы;
Могущественнейший из царей имеет душу нежную,
Он казался богом, что повелевает страданиями,
Которые как будто подчинялись Александра гласу.

Гуманность императора как уникальное и ценное качество отчетливо проявляется на контрасте с жестокостью нецивилизованных народов Российской империи, с которыми сталкивается на войне и в плену французский офицер. Так он пишет в стихотворении «Сон пленника: Его Величеству Императору Александру» (*Songe du prisonnier: à Sa Majesté l'Empereur Alexandre*) о лишениях и горестях, свидетелем которых он был и которые ему самому пришлось претерпеть:

J'ai vu la peste et la soif dévorante
Et les Kalmouks et les Juifs scéléérats
Avec le froid et la famine ardente
Se réunir pour frapper nos soldats. [...]

Je supportai l'outrage du barbare
Le sot mépris du stupide ignorant
Et dépouillé par la main du Tartare
Le froid cruel aggravait mon tourment [1, f. 10v^o–11r^o].

Я зрел: чума и пожирающая жажда
С калмыками, негодными жидами
И холодом, и голодом несносным
Объединились, чтобы бить солдат [...]

Я выносил глумленье варвара
И глупое презренье тупейшего невежды.
Я был раздет татаринном,
И холод лютой страдание мое усугублял.

В сонете, адресованном Анне фон Сиверс (1780–1855), дочери курляндского гражданского губернатора, генерала Фридриха Вильгельма (Фёдора Фёдоровича) фон Сиверса (1748–1823), жестокость солдата-калмыка и снисхождение к пленным императора противопоставляются в пределах соседних строф:

Le Kalmouk, qui le prit, pour lui fut intraitable
Il eut beau le prier de cesser ses rigueurs,
Un Kalmouk porte un cœur toujours insatiable
Et se complait dans ses fureurs.

Alexandre promet une légère aubaine
Au pauvre prisonnier pour soulager sa peine,
Depuis encore il tend la main [1, f. 40r^o].

Калмык, его³ схватив, был беспощаден,
Напрасно он молил его умерить злость.
Всегда калмыка сердце ненасытно
И упивается он яростью своей.

Несчастный пленник получил от Александра
Надежду на пособие для утоленья нужд,
Но он с тех пор стоит с протянутой рукой.

Образ калмыков и татар, свирепых и беспощадных варваров, сложился во французской литературе и культуре еще в XVIII веке и активно использовался для объяснения российских нравов в начале XIX столетия [17, p. 11–43, 70–91, 103–112, 136–142]. Однако кажется, что в данном случае французский автор не следует слепо культурным стереотипам, а подчиняет их своему непосредственному опыту. Жестокость калмыков и татар, а также нападения евреев на пленных солдат и офицеров наполеоновских войск отмечаются во многих воспоминаниях о русской кампании 1812 года. Так, процитированные стро-

³ Поэт говорит о себе в третьем лице.

ки из «Сна пленника» и сонета к Анне Сиверс во многом совпадают с дневниковыми и мемуарными свидетельствами вюртембергского офицера Генриха фон Фослера [18]. Проведя подобному анонимному автору стихотворного сборника несколько месяцев в русском плену в 1813 году, он тоже запечатлел «жестокосердие азиатов» и нападения евреев на колонны военнопленных. При этом Фослер, по его собственному признанию, плохо владел французским языком, и поэтому его трудно заподозрить в следовании французским шаблонам восприятия.

Постоянная игра с регистрами правдоподобия и вымысла вообще характерна для «Поэтических опытов господина д'...». Стихотворение «Путешествия пленника», посвященное курляндскому гражданскому губернатору Сиверсу (*Les voyages du prisonnier*), открывается «разоблачением» и опровержением рассказов о путешествиях, которым противопоставляется собственный опыт странствий по Европе:

Voyageurs sur qui l'on se fonde
J'admire vos récits trompeurs;
Je viens de parcourir le monde
Et je vous déclare menteurs [1, f. 40v°].

Ах, странники, которым верят все,
Я обожаю ваши ложные рассказы;
Я только что объехал свет
И объявляю я вас всех лжецами.

Далее следует перечисление нравственных достоинств и недостатков представительниц разных наций и стран, которые посетил лирический герой. Из них складывается своего рода интуитивная социология «нежного чувства» и типология национальных женских характеров, весьма напоминающая ту, что изображена в популярном в XVIII – начале XIX века романе Шарля Пино Дюкло «Исповедь графа ***». В соответствии с повествовательной логикой Просвещения поиски идеала приводят автора к дому, т.е. к пониманию того, что французенки являют образец грациозности, элегантности и ума. Но лирический герой находится вдали от родины и лишен возможности наслаждаться прелестями соотечественниц. Поэтому его жизненные наблюдения превращаются лишь в игру воображения, которая скрашивает пребывание в неволе:

Pour charmer l'ennui de la vie
Ne faut-il pas l'illusion?
Les dieux ne firent la folie
Que pour amuser la raison [1, f. 44v°].

Чтоб скрасить скуку жизни,
Не нужен ли нам вымысел? Ведь боги,
Когда хотели тешить разум свой,
Безумства совершали вдоволь.

Игра в любовь нужна поэту не только для собственного развлечения. Она также позволяет в шуточной форме установить контакт между нациями и примирить их в условиях войны. Как диссонанс несерьезным поискам нежного идеала звучит в одной из заключительных строк торжественное славословие губернатору Сиверсу:

Lassé de parcourir le monde
J'allais regagner mon pays
Mais dans ma course vagabonde
J'ai enfin trouvé le phénix.
Ô bon Civers! à ma patrie
Je veux redire tes bienfaits.
Permetts à ma muse attendrie
De chanter ton nom aux Français [1, f. 44v°].

Наскучив странствовать по свету,
Собрался я в свою страну,
В своих скитаниях бесцельных
Я все же феникса нашел.
О добрый Сиверс! Я отчизне
Хочу назвать твои благодеяния.
Позволь же музе умиленной
Воспеть французам твоё имя.

Однако и этот панегирик вписывается в принципы игрового знакомства и примирения. Ведь шуточный тон не отменяет искренности, с которой поэт высказывает благодарность за гуманное отношение и благодеяния. В подзаголовке к стихотворению автор напоминает, что губернатор Сиверс отдал свой дворец в Митаве под госпиталь для раненных военнопленных французов (*A Son Excellence Monseigneur le lieutenant général comte de Civers, gouverneur de la Courlande, qui fit de son palais à Mittau un hôpital pour les Français prisonniers et blessés*).

Поэтическая беседа как средство взаимопонимания и примирения. Все же не стоит переоценивать эмоциональную насыщенность произведений «пленника», посвященных августейшим особам, выдающимся полководцам и покровителям. Они состоят в основном из готовых риторических формул и интересны прежде всего как частный случай проявления национальных стереотипов восприятия. Живые эмоции в полной мере присутствуют в стихотворных посланиях «пленного трубадура», адресованных людям, равным ему по происхождению и социальному статусу: Анне фон Сиверс, Ульриху фон Шлипенбаху, Екатерине и Шарлотте фон Фитингоф, Елизавете фон Бойсен, Евгении Тизенгауз, Софии Катерфельд. Всех их объединяет сопричастность тому, что сам автор называет «общественной учтивостью» («*politesse sociale*») и «цветом обходительности» («*fleur d'urbanité*»), которые отличают французскую аристократическую культуру [1, f. 47r°]. Знакомство с ней курляндская знать составила и очно, и заочно, посредством чтения книг, о чем говорится в самом крупном произведении сборника, «Письмо

о Курляндии, или Отчет о путешествии пленника юной баронессе Бойсен» (*Lettre sur la Courlande, ou Relation d'un voyage du prisonnier à la jeune baronne de Boyssenn*), соединяющем стихотворные диалоги и зарисовки с прозаическими рассказами и наблюдениями.

Этот текст можно считать смыслообразующей осью сборника. Он наглядно демонстрирует: и для наполеоновского офицера, и для российского провинциального общества начала XIX века культурное наследие Франции XVII–XVIII столетий остается актуальной жизненной средой. Маршрут «пленного трубадура» представляет собой юмористический вариант пути паломника. Вместо духовных испытаний путешественник должен переносить скуку унылых пейзажей и неотесанность местных помещиков. В конце пути вместо экстатических переживаний его ждут радушный прием, спокойное времяпрепровождение и приятная беседа. Последний приют путешественника – дом барона Фридриха Кристофа Карла фон Марбаха, владельца имения Штрокен, жизнь в котором основана на правилах светского общежития, принятых во французском аристократическом обществе. Торжество остроумия и добродетели, художественных талантов и веселья заставляет пленника забыть о своей участи и ощутить себя дома:

C'est là qu'un sage véritable
Fait le bonheur de ses vassaux;
Toujours égal, toujours aimable
Il coule ses jours en repos. [...]

De l'ingénieuse saillie
Il sait embellir la raison
Et je me crois dans ma patrie
Lorsque je suis dans sa maison [1, f. 66v°].

Мудрец здесь подлинный
Творит вассалам благо;
Всегда он ровен и любезен,
Проводит дни в покое [...]

Он острой выдумкой
Умеет приукрасить разум,
И чувствую себя как дома,
Когда в дому его живу.

Эти же достоинства французский пленник отмечает и в других курляндских домах, в частности у Фитингофов, которым он посвящает один из своих романсов (*4^e romance du prisonnier troubadour, à la famille Witinghoff*).

Даже те из курляндских дворян, кто, по замечанию автора, «вдыхал только родной воздух» и «не пожелал трудиться над исправлением своих нравов» («qui n'a pas respiré que l'air natal... n'a point voulu se donner la peine de se polir») [1, f. 47r°-v°], в разговоре с французским гостем стремятся показать свою осведомленность в вопросах изящной словесности. Так, «пленник» иронично оценивает вкусы и повадки некоего курляндского помещика. В библиотеке этого дворянина собраны немецкие и французские авторы. Но если Шиллер и Коцебу получают высокие оценки, то Расин, Мольер и Лафонтен упоминаются в пренебрежительном и критическом тоне. При этом помещик простодушно сознается, что о книгах французских авторов он знает лишь понаслышке:

Je n'ai jamais cru devoir lire
Tous ces auteurs que j'ai décrit
Et j'en juge sur l'ouï-dire
Comme on le fait dans ce pays [1, f. 65r°].

Не мыслил я их никогда читать,
Всех авторов, что перечислил Вам.
О них сужу лишь понаслышке,
Как делается в сих краях.

Скрытая насмешка над невеждой адресована не абстрактному возможному слушателю, а юной и начитанной Елизавете Бойсен, которая должна по достоинству оценить нрав и поведение своего соотечественника и явить пример противоположного свойства.

«Письмо о Курляндии», а также другие произведения сборника изобилуют отсылками к литературе французского Просвещения. «Письмо» называет всех писателей XVIII столетия, которых полагалось знать образованному человеку (от Монтескье до Бернардена де Сен-Пьера), а невежественного помещика относит к «новому виду животных, который Бюффон забыл классифицировать в своей "Естественной истории"» («une nouvelle espèce d'animaux que Buffon avait négligé de classer dans son *Histoire naturelle*») [1, f. 65v°]. В «Путешествиях пленника» Швейцария изображается как край «Новой Элоизы». В «Послании пленного трубадура господину барону фон Шлипенбаху», о котором подробнее пойдет речь позже, умение вести светскую беседу иллюстрируется на примере анекдота из жизни аббата Рейналя. «4-ый сонет пленника» (*4^e sonnet du prisonnier. Sur la mort de l'abbé de Lile qu'il apprit pendant sa captivité en Russie*) написан по случаю смерти аббата Делиля, законодателя мод в поэзии рубежа XVIII–XIX веков. Цитаты из его поэм украшали многие альбомы в России того времени – от провинции до императорского двора [19]. «Пленный трубадур» прямо не называет себя последователем Делиля, однако в его произведениях явно чувствуется влияние автора «Садов». Прежде всего, в мировоззренческом отношении: в «Поэтических опытах господина д'...» природа занимает главенствующее место и предопределяет видение человека как «чувствующ<его> и чувствительн<ого> субъект<а>, уже по самой своей сути реагирующ<его> на окружающую природу» [20, с. 182]. «Пленного трубадура» объединяет с Делилем увлечение прозиметрами, вообще характерное для дидактической поэзии рубежа XVIII–XIX веков [21]. Последнее сочинение Делиля «Беседа» (*La conversation*, 1812), написанное в этом жан-

ре, отдает дань искусству светского разговора, а эта тема занимает значительное место в «Поэтических опытах господина д'...».

Приверженность культуре прошлого столетия проявляется не только в упоминании знаковых имен и произведений. Она явлена в самом стиле письма. Насмешка над простосердечным и невежественным владельцем библиотеки построена по принципу умолчания, недосказанности и в этом похожа на прием, свойственный определенному типу французской бытовой и литературной речи XVIII века, – *persiflage* (издевка, зубоскальство). Более того, автор употребляет в беседе с курляндским помещиком производное от этого понятия – *persifleur* (насмешник, зубоскал). Как показывает анализ корпуса *Frantext*, слово *persiflage*, чрезвычайно употребительное в 1770–1780-е гг., вообще не встречается во французских литературных произведениях между 1804 и 1820 гг. [22, р. 260–261]. Значит, послание анонимного поэта предназначено подготовленному читателю и слушателю, который, как и он сам, виртуозно владеет символами и знаками культуры дореволюционной Франции. Елизавета Бойсен безусловно рассматривается как лицо, способное понять насмешку, ибо автор во вступлении программирует реакцию своей подруги: «Я пишу это для любезной мне особы, которая, быть может, тоже улыбнется, а я люблю ее улыбку. Она одна сможет послужить мне утешением от благородного гнева, который обрушится на меня» («J'écris ceci pour une aimable personne qui peut-être rira aussi et j'aime beaucoup son sourire. Il est seul capable de me dédommager de la fureur héraldique qui va se déchaîner contre moi») [1, f. 47v°].

Знание французского языка, следование правилам хорошего вкуса, понимание норм поведения в обществе являются равнозначными условиями для достижения согласия между «трубадуром» и его собеседниками. При этом, как мы видим из разбора текстов, поэтическая беседа не столько порождает смыслы сама по себе, сколько опосредует уже готовые, фиксирует отношение к ним участников разговора и свидетельствует о возможности контакта. Не забудем и о политическом контексте поэтических посланий: война между Францией и антинаполеоновской коалицией находится в самом разгаре, но установление разговора в пределах норм светского общепития позволяет снять напряжение и устранить негативный комплекс войны. Ведь светскость и женственность салонной культуры (заметим, что подавляющее большинство адресатов «трубадура» – прекрасные и юные дамы) является антиподом мужской дворянской воинственности [23, р. 27]. Французский пленник, признавая верховенство норм общественной жизни над воинским долгом, по доброй воле становится несвободным вдвойне, но при этом освобождается духовно, получая возможность прибегнуть к родной речи, заговорить в привычной для себя манере.

Поэтическая беседа создает самые удобные условия для взаимопонимания и взаимной симпатии. По определению Р. Мози, в культуре Просвещения «беседа является наилучшим способом понравиться. Счастье, даруемое беседой, балансирует на грани серьезности и прихоти... Беседа остается игрой, [но]... она предстает и в качестве дисциплинирующего начала, чье предназначение – соединять всех людей между собой» [24, р. 587]. Функциональная двойственность светской беседы и ее игровых форм в равной степени понятна «плененному трубадуру» и принимающему его обществу.

Для «плененного трубадура» идеальным собеседником, который бы чувствовал все тонкости поэтического разговора, оказывается другой поэт. Это барон Герман Генрих Густав Ульрих фон Шлипенбах (1774–1826), чиновник земской администрации, владелец нескольких имений в Курляндской губернии. Сам Шлипенбах, которому адресованы два стихотворения сборника, к 1813 году был достаточно известен на малой родине как немецкоязычный поэт, прежде всего автор четырех поэтических книг «Курония. Собрание патриотических стихотворений» (*Kuronia, eine Sammlung vaterländischer Gedichte*, 1806–1809) [25]. Ни разноязычие, ни национальная гордость не становятся препятствием для взаимного расположения между поэтами. Барон фон Шлипенбах, следуя правилам вежливости, как гостеприимный хозяин приглашает французского гостя к беседе и просит сделать запись и рисунок в его альбоме. Так рождается «3-ий сонет пленника» (*3^e sonnet du prisonnier*). Автор отвечает любезностью на любезность. Обнаруживая общие вкусы, он признает в Шлипенбахе друга и соратника на литературном поприще, которого называет вместо себя трубадуром:

La main d'amitié trace avec vérité
L'aimable souvenir qui sçait charmer la vie
Et l'on n'y trouve point la triste rusticité
De ces vers travaillés qui font fi de l'envie.

Aimable troubadour qui sçais à l'étranger
Offrir le doux abri d'un toit hospitalier
Permetts dans ce recueil qu'il mette quelque chose

Phœbus lui refusa son souffle inspirateur
Il ne peut que t'offrir l'hommage d'un bon cœur
Mais ce présent pour toi vaudra bien une rose [1, f. 37v°].

Рукою дружеской начертано правдиво
Напоминание приятное, что может скрасить жизнь,
И в нем не будет вовсе простоты тоскливой
Стихов отточенных, что запрещают зависть.

Любезный трубадур, который иноземцу
Дал теплый кров в гостеприимных стенах,
Позволь мне написать в сем сборнике хоть нечто.

Раз Феб мне отказал во вдохновеньи дерзком,
Могу я подарить лишь доброе признание,
Но дар сей для тебя подобен будет розе.

Взаимное согласие между представителями разных стран, что достигается в поэтическом разговоре, отчетливее проявляется на контрасте с непониманием, к которому неизбежно приводит незнание норм светского общежития и неумение вести беседу, даже если собеседники являются соотечественниками и говорят на одном языке. Такая ситуация изображается в «Послании плененного трубадура господину барону фон Шлипенбаху, у которого за столом обычно бывал старый эмигрант-француз по имени г-н М...» (*Épître du prisonnier troubadour à Monsieur le Baron de Schlypenbach qui avait ordinairement à sa table un vieux émigré français nommé Mr. M...*). Некто М...и, француз, частый гость в доме барона фон Шлипенбаха, проявляет себя как «в высшей степени докучный» («ennuyeux par excellence») [1, f. 96v^o] из-за того, что не умеет поддерживать разговор. Поэт превращает послание в своего рода нравственный трактат, размышление о внимании к собеседникам как важном элементе искусства нравиться [24, p. 586]. Постоянное молчание старого эмигранта в дружеском кругу воспринимается не как проявление такта, но как нарушение норм этикета: «Люблю весьма, когда умеют промолчать, / но промолчать уметь – великое искусство» («J'aime fort qu'on sache se taire: / Mais se taire est encore un art») [1, f. 95r^o].

Поэт утверждает, что беседа объединяет и учит единению. Он отстраняет при помощи иронии тех, кто не умеет либо не желает следовать правилам общественной жизни. Но на этом социально-нравственные возможности поэтической беседы не исчерпываются. Она также подсказывает способ утешения в скорби. Об этом идет речь в стансах, посвященных юной Шарлотте фон Фитингоф (*Stances à Mademoiselle Charlotte de Witinghoff, en quittant le château de son père qui venait de mourir, dans une autre de ses terres, où elle même était allée pour assister à ses funérailles*). Поводом для откровения становится смерть ее отца, барона Густава Генриха (Андрея Христофоровича) фон Фитингофа, которая прерывает идиллические отношения между девушкой и пленником и заставляет последнего покинуть поместье «покровителя», как называет покойного барона автор. Поэт больше говорит о своих чувствах, чем сопереживает подруге. Но при этом он подсказывает Шарлотте, что их оставшиеся в прошлом совместные творческие занятия должны помочь обоим постичь «науку расставанья», превозмочь страх смерти и создать сильную эмоциональную связь:

Charlotte, jeune infortunée,
Dans quels lieux verses-tu des pleurs?
Jadis ma main mal assurée
Crayonna tes traits enchanteurs.
Bien loin de toi, dans l'esclavage
L'étranger va subir son sort;
Mais il emporte ton image
Et peut encore braver la mort [1, f. 68v-69r^o].

О, юная несчастная Шарлотта,
В каких местах ты слезы льешь?
В былое время я рукой неверной
Нарисовал твои волшебные черты.
В неволе, разлучась с тобою, иноземец
Превратности судьбы перенесет,
Но забирает он с собой твой образ
И еще может бросить вызов смерти.

Заключение. Подробный разбор всех стихотворений сборника не укладывается в формат научной статьи. «Поэтические опыты господина д'...» вполне заслуживают отдельного изучения, результатом которого может стать комментированное издание текста и решение вопроса об авторстве, невозможное без глубокого погружения в военные и региональные архивы Франции и Латвии. Не имея в настоящий момент всей необходимой документальной информации, мы не можем достоверно судить об отношениях неизвестного французского офицера с российской администрацией и жителями империи. Зато художественная проекция этого общения позволяет сделать следующие выводы.

Стихи на случай «плененного трубадура» направлены на то, чтобы соединить в большом художественном времени разных людей, говорящих на различных языках, в идеализированное сообщество. Таким образом, ситуация общения между французским офицером и курляндской знатью наглядно иллюстрирует главную герменевтическую проблему, как она сформулирована Х.-Г. Гадамером: чуждость и ее преодоление посредством нахождения общего языка [26, с. 460–471]. Но одной языковой общности для взаимопонимания в данном случае недостаточно – нужны еще система поведенческих практик, система литературных предпочтений и вкусов, разделяемые собеседниками. Из этих лингвистических, нравственных и эстетических элементов моделируется определенная групповая идентичность. Опосредованная французским языком как инструментом европейского межкультурного общения, она не противоречит патриотическим чувствам и не мешает раскрытию национальных культурных черт. Это, в общем, является характерным результатом функционирования франкофонии в России рубежа XVIII–XIX веков. Примечательно то, что подобная идентичность смогла сформироваться на фоне антинаполеоновской военной кампании и в том регионе страны, где доминирующим языком культуры традиционно выступал немецкий.

ЛИТЕРАТУРА

1. НББ 091/158. Essais poétiques de Mr D'... ancien militaire, pendant sa captivité en Russie, après la Campagne de 1812. – 138 f.
2. Сцебурака, А. Рукапісы з калекцыі Эміля Брувэ ў зборы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / А. Сцебурака // Война 1812 года: события, судьбы, память : материалы междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 17–18 мая 2012 г. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2012. – С. 200–203.

3. Сцебурака, А. Вайна 1812 г.: вершаванья мемуары палоннага французскага жаўнера / А. Сцебурака // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. / НББ ; рэдкал.: Р.С. Матульскі [і інш.]. – Мінск, 2013. – Вып. 16. – С.119–130.
4. Сцебурака, А. Беларусь у французскай мемуарыстыцы часоў вайны 1812 г. На падставе калекцыі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / А. Сцебурака // Arche. – 2014. – № 1–2. – С. 37–72.
5. Offord, D. French and Russian in Imperial Russia / D. Offord, L. Ryazanova-Clarke, V. Rjéoutski, G. Argent. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2015. – Vol. 1 : Language Use among the Russian Elite. – P. XVIII–270.
6. Offord, D. French and Russian in Imperial Russia / D. Offord, L. Ryazanova-Clarke, V. Rjéoutski, G. Argent. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015. – Vol. 2 : Language Attitudes and Identity. – P. XVIII–266.
7. Гречаная, Е.П. «Язык чужой не обратился ли в родной?» / Е.П. Гречаная // НЛЮ. – 2016. – №3 (139). – С. 343–353. – Рец. на кн. : French and Russian in Imperial Russia. Edinburgh, 2015.
8. Jacoubet, H. Le genre troubadour et les origines françaises du romantisme / H. Jacoubet. – Paris : Les Belles Lettres, 1928. – 288 p.
9. Pupil, F. Le style troubadour ou la nostalgie du bon vieux temps / F. Pupil. – Nancy : Presses universitaires de Nancy, 1985. – 560 p.
10. Cau, E. Le style troubadour, l'autre romantisme / E. Cau. – Paris : Gourcuff-Gradenigo, 2017. – 152 p.
11. Гречаная, Е.П. Когда Россия говорила по-французски: русская литературы на французском языке (XVIII – первая половина XIX века) / Е.П. Гречаная. – М. : ИМЛИ РАН, 2010. – 383 с.
12. Крюденер, Ж. [Из дневника 1803 г.] / Ж. Крюденер // Крюденер, Ю. Валери, или Письма Густава де Линара Эрнесту де Г... / Ю. Крюденер ; изд. подгот. Е.П. Гречаная. – М. : Наука, 2000. – С. 256–267.
13. Archives du Ministère des Affaires étrangères. – F. Contrôle des étrangers. Vol. 12.
14. Archives du Ministère des Affaires étrangères. – F. Contrôle des étrangers. Vol. 15.
15. Jourdan, E. L'image d'Alexandre I^{er} sous la Restauration: du culte à l'oubli (1814–1830) [Electronic resource] / E. Jourdan // La Russie d'Alexandre I^{er}: réalités, perceptions, mythes; Institut Européen Est-Ouest. – Lyon, Ecole Normale Supérieure LSH, 2005. – Mode of access: http://russie-europe.ens-lyon.fr/article.php?id_article=60. – Date of access: 19.03.2018.
16. Rey, M.-P. La Sibirie des soldats napoléoniens en exil / M.-P. Rey // L'invention de la Sibirie par les voyageurs et écrivains français (XVIII^e – XIX^e siècles), publié sous la direction de Sarga Moussa et Alexandre Stroeve. – Paris : Institut d'études slaves, 2014. – P. 90–99.
17. Stroeve, A. La Russie et la France des Lumières: Monarques et philosophes, écrivains et espions / A. Stroeve. – Paris : Institut d'études slaves, 2017. – 512 p.
18. Фослер, Г. ф. На войне под наполеоновским орлом = Unter Napoleons Adler im Krieg: дневник (1812–1814) и мемуары (1828–1829) вюртембергского обер-лейтенанта Генриха фон Фосслера / Г. фон Фослер ; изд. В. Мерле ; пер. с нем. Ю.В. Коряков, Д.А. Сдвижков. – М. : Новое литературное обозрение, 2017. – 472 с.
19. Gretchanina, E. Jacques Delille en Russie / E. Gretchanina // Cahiers Roucher-André Chénier. Etudes sur la poésie du XVIII^e siècle. – 2003. – № 22. – P. 79–87.
20. Жирмунская, Н.А. Жак Делиль и его поэма «Сады» / Н.А. Жирмунская // Делиль, Ж. Сады / Ж. Делиль ; изд. подгот. Н.А. Жирмунская [и др.]. – Л. : Наука, 1987. – С. 171–190.
21. Marchal, N. Le prosimètre didactique et scientifique de la fin du XVIII^e au début du XX^e siècle [Electronic resource] / N. Marchal, N. Wanlin // Atlantide : Vers et prose: formes alternantes, formes hybrides ; sous la direction de Philippe Postel. – 2014. – № 1. – Mode of access: <http://atlantide.univ-nantes.fr/Le-prosimetre-didactique>. – Date of access: 19.03.2018.
22. Bourguinat, E. Persifler au siècle des Lumières : histoire du mot « persiflage » 1734–1789 / E. Bourguinat. – Paris : Créaphis Editions, 2016. – 319 p.
23. Craveri, B. L'âge de la conversation / B. Craveri. – Paris : Gallimard, 2002. – 680 p.
24. Mauzi, R. L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIII^e siècle / R. Mauzi. – Genève ; Paris : Slatkine Reprints, 1979. – 725 p.
25. Gottzmann, C.L. Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs, vom Mittelalter bis zur Gegenwart / C.L. Gottzmann, P. Hörner. – Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2007. – Band 1: A–G. – S. 1147–1150.
26. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Х.-Г. Гадамер ; пер. с нем. ; общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.

Поступила 28.04.2018

**“CAPTIVE TROUBADOUR” AND THE NOBILITY OF COURLAND IN 1813:
CULTURAL DIALOGUE IN THE MIDST OF THE WAR**

D. KANDAKOU

The article analyzes a manuscript collection of poetry by an unknown French officer who was prisoner in Government of Courland after 1812 War. Verses on several occasions both solemn and common make use of Troubadour style, typical of early nineteenth-century French poetry. The miscellanea bears witness to prisoner's deep involvement in local sociability and his good contacts within local elites. It also shows his will to better understand Russian life. The mutual understanding of the prisoner and his hosts is based on the interest for French literature and the command of the norms of sociability set by French aristocratic culture and adopted in the Russian Empire at the turn of the 19th century. As a result, a particular group identity takes shape within the poetical conversation. Mediated through the international European language, this identity is not at variance with patriotic feelings nor impedes revelation of national cultural features.

Keywords: War of 1812, troubadour style, occasional poetry, national stereotypes, francophonie.